



Симбирская пленница: «Научи меня, Боже, любить...»

Из воспоминаний Анны Борисовны Сазоновой
«Мои переживания в 1916–1924 годах»

(Продолжение. Начало в № 5-2022)

Симбирск, 1919 год

В конце августа торжественно пришёл помощник начальника тюрьмы объявить по всем камерам о переводе многих из нас (преимущественно жён, мужья коих бежали с белыми) в концентрационный лагерь за оградой женского монастыря, и уже 1 сентября нам велели собираться, строиться и под конвоем повели нас по всем главным улицам Симбирска на наши новые квартиры...



МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 3

Помню, день был ясный, тёплый <...>. По дороге все попадавшие на нас граждане с участием смотрели на нас, знакомые украдкой кивали, другие крестились, некоторые подавали нам милостыню <...>. Только тот, кто прошёл через подобное положение, поймёт, как такие подаяние глубоко трогают.

<...> Нас, женщин, поместили в двухэтажный каменный флигель, раньше занимаемый монашенками, которых почти всех Совком более или менее упразднил: старух монашенок поотправляли по их сёлам, а молодых, ещё годных к физическому труду, посылали на разные работы, а главным образом мобилизовали ухаживать за тифозными. Осенью 1919 года и зи-

мой 1920 года все роды тифа, преимущественно же сыпной, свирепствовали по всей России, и мало кто от этой мори выживал <...>.

Очень утешительно было иметь перед окнами церковь, собор монастырский, где ежедневно совершалось раннее служение и откуда через открытые окна доносилось до нас пение. Мы сразу стали просить и хлопотать о разрешении посещать службы, хотя бы раз в неделю, и действительно, в первую же субботу всех желавших отпустили, разумеется под конвоем, ко всенощной, а в воскресенье и к обедне.

Какая это была глубокая радость, увы, скоро пресечённая.

Хотя нас вводили в храм до прихода прочих молящихся, ставили отдельно в стороне, и хотя два здоровенных (за службой всё время сидевших) красноармейцы тщательно охраняли все подступы к нам, некоторые заключённые «развели контакт» с толпой молящихся: были рукопожатия, стали передаваться и получаться записочки; и из-за неосторожности немногих хождение в церковь было нам всем воспрещено.

Я, впрочем, сама невольно нарушила запрет сноситься в церкви с внешним миром: не раз замечала я, что на меня добрым участливым взглядом поглядывала одна девушка, по-видимому гимназистка, лет 15-16, и мы стали издали друг дружке улыбаться. Раз, при выходе из церкви, она вдруг подошла ко мне, быстро вынула из-за ворота свою цепочку с

крестом и, сняв с неё маленький образок, со слезами, целуя меня, сунула мне его в руку. Это было так неожиданно, так трогательно, что я могла лишь горячо обнять её в ответ и, не сказав ни слова, быстро последовала за выходящими уже из церкви другими арестантками. Эту иконку Божьей Матери «Нечаянная радость» я с той минуты никогда не снимаю и верю в её чудодейственную силу.

Позднее, от заключённой же, узнала я, кто была эта девушка, и как желала бы я, чтобы этой моей милой незнакомке Наташе Матерь Божия послала бы великую радость за этот её любвеобильный порыв.

Время шло, и снова подошла осень и стужа с постоянным симбирским ветром, <...> мне становилось холодновато в моём единственном туалете, в котором я была арестована в тёплый весенний день <...>, так что я была особенно рада получить от моей племянницы Наты Н. её пальтецо и пару тёплых перчаток <...>. Холода в этот год наступили рано, на работах зябли ноги. Но верна поговорка: голенький ох, а за голеньким Бог. Вдруг вызывают меня к выходу и <...> передают мне пару чудных высоких валенок. Я не хотела их брать, думая, что это ошибка, что они предназначены, уж конечно, не мне, но вижу приветливый взор и слышу ласковый голос: «Именно вам, знаем, что без вины сидите», и, сунув эту великолепную обувь мне в руки, мои благодетели скрываются <...>. Эти валенки я не снимала вплоть до весны... Я носила

их три зимы и в начале четвёртой, т.е. в ноябре 1922 года, отбывая за пределы РСФСР, починив их, отдала одному другу, которой они, надеюсь, тоже ещё сослужили службу.

Я не раз замечала, что всё, что дается от души, бескорыстно, с любовью, всегда как-то особенно с пользой служит ближнему. Пример – мои валенки; и ещё раз спасибо давшей их мне рабе Божьей Ксении в Симбирске.

Дни шли однообразные, холодные, тёмные. Вторая годовщина Октябрьской революции шумно и с подчеркиванием праздновалась 7, 8 и 9 ноября в городе, и даже у нас в лагере по этому случаю было в бывшей трапезной с изображениями святых по стенам назначено торжество: хором заключённых пелся «Интернационал» и были какие-то декламации в присутствии начальства.

Так текла жизнь с ежедневными нашими повинностями <...>.

Раз комендант призывает меня, как выбранную лагерным старостой, в контору и велит собрать на утро 15 женщин для чистки одного здания тюрьмы после тифозных, помещавшихся там последний месяц. Приказ был настоящий <...>. Возвращаясь в камеры, обхожу их и прошу арестанток собраться. Ответ: «И не уговаривайте <...>». Я им доказываю, что положение наше такое, что разбирать не приходится: лучше добровольно согласиться, чем из-под ружья идти. Бывало, что упорствовавших прикладами выгоняли. Аргатаются, не соглашаются. Только четыре, и я, конечно, пятая, согласились, остальные же «ни за что». Слава Богу, уговорила, набрала почти всю нужную братию, и вот утром строят нас, и мы отправляемся. Но когда мы вошли в здание, подлежащее чистке, я ужаснулась, и мне захотелось извиниться перед заключёнными <...>. Достаточно сказать, что в этом «изоляционном» помещении несколько предыдущих месяцев клялись и умирали тифозные, лёжа прямо на полу, без матрацев, в лучшем случае на соломе, но и то редко сменявшейся, безо всяких тазов или сосудов, лишённые всякого ухода. Безднадёжных, почти умирающих, их сваливали куда попало, и каждую ночь наши арестованные мужчины, в виде трудовой повинности, посылались из лагеря выбирать мёртвых и «хоронить» их... Заключённые мне это не раз рассказывали: взой-



В первом ряду (слева направо): Ольга (1895–1920) и Александра (1897–1987), дети Петра Столыпина и Ольги Нейдгардт. Во втором ряду (слева направо): Анна Борисовна Сазонова (ур. Нейдгардт) (1868–1939), Наталья (1891–1949) и Аркадий (1903–1990) Стольпины. В третьем ряду (слева направо): Мария Аркадьевна (сестра П.А. Столыпина) (1861–1923), Елена Столыпина (1893–1985), Ольга Борисовна (ур. Нейдгардт, супруга П.А. Столыпина) (1859–1944), дочь Мария (1885–1985) и сам П.А. Столыпин (1862–1911).

дут они в такое помещение и поочередно, одного за другим, тянут больных за ноги; ежели заохает, оставляют до завтра, если молчит, вытаскивают вон, бросают одного на другого в розвальни и везут их так за город (выезжало их не менее 10-12 подвод каждую ночь) и там, опрокинув сани или телегу, груды сваливают в одну общую яму.

И так каждую ночь набиралось по всему городу в этом и двух других подобных госпиталях до 100 и более человек, которых и приходилось им так хоронить. Иногда случалось забрать ещё живого, который только под грудой мёртвых тел вдруг заохает <...>. В этих почти разлагавшихся кучах попадались люди со всех концов России, «буржуи» настоящие и бывшие, лежали вповалку красные и белые. Всех сравняла революция, всех обняла и уравнила смерть.

Живя подобными переживаниями, влекли мы невесёлые дни, но время всё же шло вперёд, и подкатилось Рождество 1919 года... Невесело встречали мы новый, 1920 год, каждая молчаливо на своей койке, каждая одиноко со своими мыслями, своими чувствами, своими мечтами и надеждами.

Что-то принесёт 1920 год?!

<...> Много, многое передумала я и перечувствовала за эти долгие месяцы, и теперь, в заголовок 1920 года

я ставлю: «И познаете Истину, и Истина сделает Вас свободными» (Ев. от Иоанна, гл. VI ст. 45).

1920 год. В восемь часов вечера помощник коменданта пришёл мне объявить, чтобы я немедленно собиралась, не пояснив, однако же, ни куда, ни на сколько, т.е. как у нас говорилось, не сказав: «с вещами» или «без вещей», что у нас имело условный смысл: «перевод в другое заключение» или попросту «на расстрел». Я перекрестилась и этим ограничила свои сборы. Кроме меня переводилась ещё одна женщина <...> и 12 мужчин. В десятом часу, в тёмный, безлунный вечер, под сильнейшим конвоем с ружьями наготове, погнало нас по безлюдным улицам и по глубокому снегу (накануне была метель, а улицы г. Симбирска расчищались плохо) ускоренным шагом к архиерейскому дому».

МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 4

Пока мы по пути туда шагали в этой таинственной обстановке, ко мне поминутно подходили то один, то другой из моих спутников с сообщением, что он слышал, что из нас четырнадцати ведомых жертв

12 предназначены к расстрелу, и каждый поочередно спрашивал моё мнение, кто именно обречённый. Я знала это, конечно, столь же мало, сколь они сами, и могла лишь отрезвить их сообщением, что «двух смертей не бывает, а одной не миновать» <...>.

Доведя до места, нас сдали под расписки дежурным по караулу, и перед нами в полумраке открылась тяжёлая железная дверь. Оказалось, что бывшие архиерейские кладовые в подвальном этаже были приспособлены под тюрьмы Губчека. Нас впихнули в вонючую, уже битком набитую камеру, где на нарах вдоль и поперёк сидели и лежали вперемежку мужчины и женщины. Было так тесно, душно, темно («кладовые», предназначенные на 10-12 заключённых, содержали уже граждан и гражданок 25-26), что нас всех даже втиснуть не смогли и пустили лишь нас, двух женщин, а мужчин отвели куда-то ещё.

Я как вошла, так первые минуты стояла недвижимо, пока глаз не привык к полумраку и я не разобрала, что рядом со мною кто-то на нарах потеснился и уступил мне на ночлег квадратик в пол-аршина.

Я не замедлила этим воспользоваться и села. Но ни прислониться, ни облокотиться не было никакой возможности, да и не к чему было прислониться, и мне невольно вспомнилось, как моя гувернантка-немка, поступившая ко мне, когда мне было около 13 лет, мне говорила: «gerade sitzen» (сидите прямо)... Тут я действительно могла в продолжение многих часов доказать прямому своего сидения. На рассвете я всё же не выдержала и стала клевать носом; моя голова и, вероятно, я вся стала куда-то опускаться и задремала <...>. Вдруг я была разбужена сильным ударом кованого каблука в лицо; вероятно, одному из моих соседей вздумалось потянуться во сне <...>. Мне этот удар причинил сильную боль, и ещё долго спустя переливался у меня цветами радуги огромный синяк на лбу и виске. <...> От тесноты и особенно от крайне тяжёлого воздуха я чувствовала себя плохо и продолжала молча сидеть на своём краешке нар. Прошёл день, и прошла вторая ночь без перемен: никто нас не вызывал и расстреляны мы ещё не были. И на том спасибо.

Под утро вторых суток мне всё же, как я ни крепилась, сделалось дур-

но, и тут снова произошло нечто неожиданное, будто снова показался милостивый перст Божий.

На нарах против меня с добрым и утомлённым лицом сидел тоже заключённый, один молодой петроградский рабочий, арестованный за принадлежность к партии соц-рев., изредка участливо на меня поглядывавший. Как рабочий, он говорил громко и беззастенчиво, и к нему все прислушивались. Хотя я совсем не разговаривала с ним, он увидал, что мне нехорошо, вдруг кликнул караульного и попросил вызвать начальника, и когда тот явился, потребовал, чтобы меня выпускали на воздух и разрешили ежедневные прогулки. К моему великому удивлению, немедленно, приставив ко мне стражу, меня вывели на двор на чистый морозный воздух. Я сразу ожила. Но милость Божия продолжалась <...>. На следующий день, не успели меня снова выпустить на прогулку, как я увидела шедшую ко входу в наше здание одну коммунистку, сидевшую некоторое время со мною в тюрьме. Она знала меня и моё плохое здоровье, помнила, что я до конца Гражданской войны была переведена в лагерь, и очень удивилась, увидав меня снова в объездах ЧК. Она сейчас же пошла к коменданту и заявила ему о желательности перевода меня снова в концентрационный лагерь, где мы, конечно, пользовались сравнительно большей свободой.

После некоторых переговоров меня в тот же вечер, а со мною и дру-

гих моих товарищей повели обратно в монастырь <...>. В лагере все радостно встретили нас, да и нам было приятно туда вернуться; там были все уверены, что меня и некоторых других из нас давно расстреляли. Посматривали только все на моё многоцветное лицо – следствие удара каблуком сонным соседом на нарах.

Вскоре по возвращении моём в лагерь из Губчека захворал тифом наш фельдшер, а два дня спустя и доктор объявил мне, что у него температура 39° и что, вероятно, заболевает и он и в эти дни не будет в состоянии к нам приходить и больших передаёт мне. Я и до того делала ежедневные перевязки двум монашенкам, у которых как осложнение после сыпняка были болезненные язвы за ушами, и я охотно приняла на себя наблюдение и за этими больными <...>.

В это самое время, что я была в пылу санитарной работы, меня 15 января под вечер вызывает комендант и ошеломляет известием, чтобы я была наготове, так как не сегодня-завтра я перевожусь в Москву. Я была совсем пришиблена этим известием. Я чувствовала себя плохо – оказалось, я тогда уже сама заболела тифом, к тому же я прижилась в лагере и чуяла все перемены к худшему, ожидавшие меня в «Центре» <...>.

На следующее утро я покинула лагерь, провожаемая издали всеми моими сожителями по заключению; мы сжились, и жаль нам было расставаться <...>.

Спасский женский монастырь в Симбирске, превращённый после революции в концлагерь





Никогда не забуду я щемящее чувство при входе моём в вагон, арестантский вагон ГУ класса, стоявший, охраняемый часовыми, на запасном пути, далеко от станции, не только с решётками на окнах, но и из восьми окон которого пять были наглухо заколочены чёрными досками <...>.



МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 5

Я была приведена последнею, и выпавшее мне место было, конечно, у «чёрного» окна, да ещё около известного места, которое в течение 19 суток, что длился мой переезд из Симбирска в Москву, сыграло не меньшую роль в неприятности и неудобстве моего путешествия.

Когда я со своим узлом уселась на узкую скамью и не могла даже протянуть ноги, т.к. напротив уже сидел арестант с болезненным видом, тоже оказавшийся тифозным, один из конвоиров мне участливо шепнул: «Вагон это плохой, тесный; жаль, что не стольпинский». Я невольно поинтересовалась: «Какие же были стольпинские вагоны и чем они лучше?» На что он сказал: «А как же! В стольпинских вагонах банкетки были длинные, и арестанты на них могли вытянуться и лежать».

О иронии судьбы! Не думал мой дорогой покойный зять, утверждая тип арестантских вагонов «поудобнее», что они могли бы стать предметом вождения и недосыгаемого мечтою для меня <...>.

Выехав 16 января, только 3 февраля в ночь докатились мы до Москвы. За все эти без малого три недели нашего пути нам всего один единственный раз дали тёплый обед с 1/2 ф. хлеба <...>, в остальное же время, и то неисправно, нам выдавался лишь хлеб утром и стакан кипятку <...>. Атмосфера нашего вагона была заражённая и во всех отношениях гнетущая. Я уже упомянула о моём близком соседстве с WC <...>. Переполнение нашей движущейся тюрьмы особенно ощущалось в редко пустовавшем пространстве рядом со мною, которое уже с первых дней перестало отвечать требованиям и по неволе заставляло заключённых распространять всё ближе ко мне район

своей «деятельности». Пока стояли сильные морозы, положение, как оно ужасно ни было, было ещё терпимо, но оно действительно стало невыносимым при вдруг наступившей оттепели, когда всё принялось оттаивать, мякнуть, благоухать и течь мне прямо в ноги <...>.

Я вообще, принципиально, никогда ни на что не жаловалась, видя полную бесполезность этого, и, может быть, именно своей пассивностью привлекала на себя более внимания, чем другие своим непроизводительным ропотом. Тут-то сам конвоир-начальник подошёл ко мне и предложил мне выйти на воздух, «пока вагон не приберут», причём должна отдать ему справедливость: он первый с лопатой принялся за это грязнейшее дело.

В Москву мы прибыли вечером. По выходе из вагона меня от недомогания шатало <...>. Надзор за мною в Москве резко изменился и стал крайне строгим: мне было запрещено не только с кем бы то ни было разговаривать, но было даже предложено не оборачиваться, не глядеть по сторонам, а идти прямо перед собой (а я от слабости всё валилась на сторону) между двумя хранителями-конвоирами. Таким образом, под бдительным оком моих спутников я была в 1-м часу ночи приведена в небезызвестное ВЧК».



МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 6

Я была так разбита, что даже не ощутила холодного ужаса, вызываемого в сознании всех, вступающих под сень «Чеки» <...>. Часовой привёл меня в тесную, низкую комнатку под чердаком, где ввиду позднего часа уже спали на нарах женщины, много женщин, а на стуле рядом сидел страж с винтовкой и с пистолетом. <...>. Я уже собиралась и здесь прижиться, хотя ох как было плохо, но уже на 3-е утро мне велели снова собираться и повели, уже с одним конвоиром, неподалеку, на той же Лубянкё, в Особый отдел Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. После тех же формальностей, заполнения анкетных листов, обысков узла и меня самой (причем солдат-красноармеец

обеими руками обшаривал меня под юбками, не зашито ли что в белье!), я была ввергнута в комнату без окон, но с двумя дверьми, где на нарах находились всего двое, двое мужчин, тоже с бесконечно удрученными лицами. Впрочем, полагаю, что и у меня после всех моих передрыг был не более радостный вид.



МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 7

В особом отделе отняли у меня и обручальное кольцо, и, что мне было дороже всего, моё Евангелие, ещё детское, никогда меня не покидавшее с 1877 года <...>.

На обед нам дали два блюда и 1/2 ф. черного хлеба на человека – целый пир горой. Я, голодавшая три недели, как волк бросилась на гороховую кашу и чуть не залпом выпила из котелка весь водянистый, с плавающими редкими листочками капусты-горячий суп, и тут же, растянувшись на нарах (благо было широко), крепко заснула. На следующее утро снова тревога, снова передвижение: через многие дворы, опять на 5-й этаж, сперва в канцелярию, а затем и в тюрьму Особого отдела...



МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 8

<...> Продержали меня несколько часов на скамейке перед дверьми в канцелярию (моим соседом был белый офицер, два раза приносивший мне воды напиться), затем снова подвергли и меня, и мои вещи обыску и наконец повели в камеру № 1, сравнительно чистую комнату, без нар, а с отдельными узкими койками из голых досок. Окна с решётками были густо замазаны снизу доверху, и не было даже возможности угадать, куда они выходят. В комнате и днём был полумрак.

<...> Это была самая серьёзная тюрьма, в ней помещались «сливки контрреволюции» и была строжайшая дисциплина.

<...> Принесли кипятку на чай, который я только что возмечтала ис-

пользовать на умывание и после почти 4 недель пытки без раздевания и мытья наконец лечь, помывшись, без валенок, без пальто, без платья, как вдруг сперва вошёл часовой и стал с винтовкой у двери, а за ним две женщины, которые прямо подошли ко мне, причём одна принялась рыться в моих вещах, а другая, раздев меня до рубашки, приподняла её и тщательно меня обшарила. Обыск 4-й в три дня и, как все предыдущие, вполне безрезультатный <...>. До сих пор, хотя я чувствовала то озноб, то жар, я всё ещё кое-как держалась на ногах, но здесь последние силы меня покинули, и я в полном истощении легла на указанные мне доски. Я была покрыта вшами, приобретёнными в долгом пути, что заставило моих соседок не только меня сторониться, но даже всех забиться в один угол <...>. Я видела, с каким отвращением и страхом (как бы не заразиться от меня) они на меня смотрели, и когда на следующее утро на поверку пришёл сам начальник, они энергично заявили претензию, «чтобы меня удалили из их камеры» как вшивую и тифозную <...>.

Через некоторое время запоры снова отворяются, но вместо ожидаемого доктора входят два солдата, в остроконечных, недавно установленного типа, шлемах, один, как требуется, остается с винтовкой у двери, другой подходит ко мне: «Собирайтесь к доктору, а заодно и к фотографу».

Снимали меня и в профиль, и прямо в лицо, со взглядом в аппарат и вбок, и я дорого бы дала теперь, чтобы увидеть эти шедевры эстетики и красоты <...>.



МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 9

Бутырская больница, даже в том крайне изгаженном, попорченном виде, в котором я её тогда впервые увидела, поразила меня целесобразностью и санитарностью своего устройства, <...> но форточки не открывались, в камерах был тяжёлый воздух из-за недействовавшей канализации, а температура была в лучшем случае (когда топились на скорую руку сложенная кирпичная печь в коридоре) не выше двух градусов <...>.



Новинская женская тюрьма. 1910



Моя койка была первая у открытой двери, и через коридор напротив в противоположную палату была тоже открыта дверь: прямо против меня лежала женщина с истомлённым, неподвижным взглядом, и мы издали невольно смотрели друг на друга. Глядя на мою одиноко лежавшую «визави», к которой никто ни разу не заглянул, сама я, не будучи в силах встать, уже под вечер рискнула заметить: «И что это все к нам ходят, а вот лежит женщина одна напротив, и никто к ней не заглянет. А она безмолвно всё смотрит на меня». Долго меня никто не понимал, о ком это я говорю, наконец, смеясь, кто-то воскликнул: «Да что к этой заходить: она с утра умерла, а сейчас 7 часов вечера!»

11 февраля нам объявили, что мы переводимся в Новинскую тюрьму <...>.



МЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ № 10 И ПОСЛЕДНЕЕ

Здесь нас не ожидали. Камеры для нас не были готовы, и нам велели временно расположиться у железных решёток, в «приёмной», где в разрешённые дни и часы происходят свидания арестанток с внешним миром.

Затем нас отвели в соседнее помещение, приказали раздеться догола и сдать все наши вещи для дезин-

фекции, нас же самих – о радость – тут же рядом вели в баню. Всё моё тело изныло не только от болезни, но и от грязи и вшей, безжалостно кормившихся мною более месяца, и чувство струившейся по мне горячей воды, возможность наконец скинуть грязное бельё и вымыться было одно из самых отрадных, которое я когда-либо в жизни ощущала <...>. После этого мне выдали рубаху и юбку из толстейшего холста, холщовые же чулки без пяток и носков, арестантский халат и короткую куртку солдатского сукна. На ноги разрешили надеть мои валенки, и повела меня надзирательница Ольга Петровна через двор, в камеру.

Хотя здесь первые дни пришлось лежать на полу <...> и не всё было мне по вкусу, Новинская тюрьма все же показалась мне милее всех прочих мест моего заключения. Я так была рада ощущать чистоту тела, что, несмотря на грубейшее бельё, с непривычки будто царапавшее меня всё время, я вдруг подбодрилась и устроилась между двух соседок, со мною прибывших из Бутырской тюрьмы.

Одна, направо, была Надя, молодая воровка, тифозная и беременная, вот-вот ожидавшая родов, другая – 50-летняя анархистка; обе, как и я, тяжело больные. За несколько дней близкого сожительства мы друг к другу привыкли и дружили. Надя вскоре разрешилась девочкой, которую за неимением другого места тут же положили ко мне на койку, пока фельдшерица возилась с очень страдавшей и бывшей в беспомощности матерью. Когда всё успокоилось, моя соседка слева просит меня посмотреть, жива ли ещё моя соседка справа. Я отвечаю: «Я не могу двинуться: я умираю». Тогда она через меня перекидывается, схватывает руку Нади, как оказалось, уже умершей, но от этого усилия сама приходит в обморочное состояние, перетянув, однако же, покойницу частично на меня. До сего дня чувствую я холод и тяжесть – это невыразимое ощущение ледяного груза. По счастью, в Новинке, не в пример Бутырки, покойницы в камерах не залёживались, и бедная Надя была скоро вынесена; её же полуживой ребёночек был тут же отправлен в приют <...>, а через несколько дней по пути в Бутырку умерла и вышеупомянутая соседка слева.

Видно, Бог решил, чтобы я осталась жива <...>. При утреннем обходе врач сообщает нам распоряжение, что «всех тифозных снова переводят в Бутырскую больницу». Слыша это, я не без ужаса спрашиваю: «Как, и меня?» Ответ: «Да, и вас. Всех». Позднее я вижу, как все назначенные к переводу начинают собираться и увязывать свои узлы и узелки, пробую и я встать и уложить свои вещи, но решительно не чувствую силы это сделать. Ещё позднее я вижу, как всех уже выводят, а меня будто забывают, в камере наступают сумерки <...>. Я была оставлена, т.к. не рассчитывали, чтобы я вообще выжила, и не хотели, чтобы я умерла дорогой.

<...> У меня и в этой тюрьме были друзья и благодетельницы (я ведь была парализована, от малейшего усилия задыхалась и вообще была крайне слаба), и они оказывали мне всевозможные услуги, кто чем мог: стояли в очереди за обедом и приносили мне его, ухаживали за мною.

Как сейчас помню, как одна из них, ещё совсем подросток, чтобы сделать мне что-нибудь приятное, говорила мне стихи, в детстве ею слышанные стихи-молитву, до того времени мне ещё не знакомые, но которые я скоро выучила наизусть и ежедневно повторяла. Она, сидя на моей койке, вдруг начала задумчиво и осмысленно декламировать:

Научи меня, Боже, любить

Всем умом Тебя,

всем помышлением,

Чтоб всю душу Тебе посвятить,

И всю жизнь,

с каждым сердца биением.

Научи Ты меня познавать

Лишь Твою милосердную волю.

Научи никогда не роптать

На мою многотрудную долю.

Всех, которых пришёл искупить

Ты своею пречистой кровью,

Научи меня, Боже, любить

Бескорыстной, глубокой любовью.

(Великий князь Константин Константинович Романов (1858–1915))

Много, много хорошего могу я сказать об этих «отверженных» существах, на которых я в тюрьме научилась смотреть как на тех «мытарей и грешников», о которых Господь сказал: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие» (Ев. Матф. гл. 21, ст. 31).

<...> Как только я была в силах чем-нибудь заняться, даже ещё не покинув одра болезни, я принялась за шитье и вышивание <...>. По вечерам и праздникам на дворе раздавалось пение хором, с запевалой, большей частью Феней Коссино, во время моего пребывания в Новинке два раза выписывавшейся и снова «засыпавшейся», (как у нас говорили) за присвоение чужой собственности. <...> Вижу и юную Тоську Пушкину, танцующую и не выпускающую папирсы изо рта, и умницу Наташу Архипову, наводящую порядок и страх на строптивых; и мою кроткую соседку Валю Ботину (проститутку), красивую и печальную, и многих других. Где-то они все теперь? Как живут? И помнят ли меня, как я их?

<...> В августе, от жаркой ли погоды, от чего ли ещё, я снова почувствовала себя худо и у меня опять случился сердечный коллапс. Тогда я была уже переведена в здание больницы (зимою неотапливаемое и закрытое) и лежала в отдельной маленькой палате с приставленной ко мне нянкой. Сёстры милосердия, попеременно дежурившие при больнице день и ночь, были рядом в аптеке, и спасибо добрым Ксении Влад., Елене Ивановне и всем другим за их заботливое отношение.

В ночь с 5 на 6 августа мне было так плохо, что я пожелала причаститься и заявила о сём при утренней проверке; мне сказали, что священник в церкви и служба началась. Я боялась умереть без принятия тела Христова, собрала последние силы и с помощью двух заключённых дошла через двор до нашей церкви. Меня ввели в ризницу, и так как я стоять не могла, а стульев для нас не полагалось, то мои друзья выдвинули ящик шкапа с облачениями, на который и посадили меня. Вышел батюшка и тут же исповедовал меня; он меня спросил, «могу ли я ждать до выноса Даров, чтобы причаститься». Я надеялась, что да, но мне вдруг стало так худо, что одна заключённая уведомила об этом священника, который вскоре вышел ко мне и причастил меня запасными Дарами, причём я сама прочла вслух: «Верую, Господи, и исповедую». После этого меня снова под руки увели и доставили благополучно до моей кровати.

Я была очень счастлива в тот день. Помню, как сейчас, какой глу-

бокий мир был у меня тогда на душе.

Действительно, тогда в сердце были у меня только любовь и прощение. Вот тогда, в тот день, мне и следовало умереть. Но Бог судил иначе, значит, на то Его указание и воля.

Вспоминается, что как-то заключённые, разговаривая, спрашивали друг друга: кто к какой партии принадлежит? Кто какому учению следует? И с этим вопросом обратились и ко мне <...>. Я сказала: «Если хотите, я тоже «партийная»: я – православная христианка и исповедую учение Господа нашего Иисуса Христа и верю, что всё, Им посылаемое, всегда для нашего блага».

<...> В день моих именин, 9 сентября, у меня было семь посетителей (не допущивших меня, и каждый чем мог, главным же образом своим добрым вниманием, порадовал меня. Хотя я никого не видала, я от одного радостного волнения совсем устала и легла. Я ведь ещё была очень хилая. На следующее утро, в памятный мне четверг 10/23 сентября, ко мне входит наша начальница, присаживается ко мне и, с участливым вниманием глядя на меня, спрашивает, как я себя чувствую. Затем, будто понемногу меня к чему-то подготавливая, предлагает мне погулять, хотя это не был час, когда на прогулку выпускались из больницы, и говорит: «Вы даже можете в контору пройти, там к вам пришли на свидание...» Я всё более недоумеваю, напряжённо на неё, дорогую, добрую, гляжу и слушаю её, и вдруг она со слезами на глазах, горячо целуя и обнимая меня, говорит мне: «ВЫ СВОБОДНЫ!».

ЕСТЬ БОГ.

Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к Вам. Бог есть.

Послесловие

После освобождения Анна Борисовна покинула Россию и эмигрировала во Францию. Там она со свойственной ей активностью приобщилась к церковной деятельности, занималась благотворительностью и вместе с братом Дмитрием Борисовичем Нейдгартом работала в созданной им же в 1927 году Зарубежной казне для помощи русским эмигрантам. Ушла из жизни в 1939 году.

Материал подготовил
Нафанаил Николаев